

Александр Дорошенко

## Барабанщик

Это девушка с дома Вагнера, что по Екатерининской между Дерibasовской и Ланжероновской улицами. Там непрерывный поток людей идет мимо нее, и никто не поднимает глаз, и ее не видит. Разве такая – она не чудо, разве можно ее не заметить?!



«Исполнятся  
поставленные сроки –  
Мы отлетим  
беспечною гурьбой  
Туда, где счастья трудного  
уроки  
Окажутся  
младенческой игрой.

Мы пролетим  
сквозь бездны и созвездья  
В обещанный  
божественный приют  
Принять за все  
достойное возмездье –  
За нашу горечь,  
мужество и блуд.

Но знаю я:  
не хватит сил у сердца,  
Уже не помнящего  
ни о чем,

Понять, что будет и без нас вертеться  
Земной – убогий – драгоценный ком.

Там, в холодке сладчайшего эфира,  
Следя за глыбой, тонущей вдали,  
Мы обожжемся памятью о сиром,  
Тяжеловесном счастии земли.

Мы вдруг пойдем: сияющего неба,  
Пустыни серебристо-голубой  
Дороже нам кусок земного хлеба  
И пыль земли, невзрачной и рябой.

И благородство гордого пейзажа –  
Пространств и звезд, горящих, как заря,  
Нам не заменит яблони, ни – даже! –  
Кривого городского фонаря.

И мы попросим радостно и страстно  
О древней сладостной животной мгле,  
О новой жизни, бедной и прекрасной,  
На милой, на мучительной земле.

Мне думается: позови нас Боже  
За семь небес, в простор блаженный свой,  
Мы даже там – прости – вздохнем, быть может,  
По той тщете, что мы зовем землей».

Довид Кнут

## На милой, на мучительной земле

«Шел с улыбкой белозубой  
Барабанщик молодой...

Пляшут кони,  
Льются трубы  
Светлой медною водой

В такт коням,  
Вздувая вены,  
Трубачи гремят кадрили,  
И ложатся хлопья пены  
На порхающую пыль».\*

Валерий Петрович Терпсихоров, будучи мертвецом, лежал в гробу, приготовленный для прощания. Лежал он вымытым и побритым, на спине, в той именно позе, которую так не любил при жизни, со сложенными на животе руками. Его голова немного откинулась назад, потому что подушка была маловата, и это было неудобно. Валера видеть не мог, но чувствовал, что нос, и так всегда удлиняющийся у мертвых, торчащий впереди всего тела, нос его, не малый при жизни, теперь в основном и представлял его пришедшим прощаться. Со стороны это было как ворона, или галка, заочневшая на спине, в строгом и важном молчании лежащая на тротуарном асфальте.

Валера вспомнил, что так выглядел и рождественский гусь, ощищенный, вымытый, наполненный специями и яблоками, положенный на громадное бабушкино блюдо и торжественно установленный в самом центре праздничного стола. Мы знаем будни, а все остальные дни, кроме них, называем праздничными. Этот Валерин день был последним его праздничным днем.

Гроб был вовсе не дубовый, как хотелось Валере, а из какого-то более дешевого дерева, доски еще не просохли, и дерево было влажным. Оно хранило запах дерева и лака, которым покрыли для красоты гроб. Он все же был не из дешевых, полированный, с бронзовыми ручками, с двумя крышками, прозрачной внутренней и глухой, верхней. Сейчас верхняя была откинута, и Валера лежал под стеклом, как Ленин в мавзолее. Он мальчиком Ленина в гробу видел, отец взял его в Москву, и они пошли, как водится, в мавзолей. Как жук в гербарии, или как там это называется, где жуков, наколотых на булавки, помещают в рамку под стекло.

Катюша решила сэкономить на гробе, он этого и ожидал. Он, правда, оставил ей достаточно денег, бедствовать она не будет, но характер и расчетливость брали свое. И подружки ее вполне это пой-

\* Иосиф Уткин. Барабанщик.

мут, и так станут говорить – мол, внешне прилично, а ему там это ни к чему. Ну ладно, вмешаться он уже не может, сойдет и так. В гробу было мягко и уютно, он был широк и не давило плечи, как обычно приходится лежать мертвецам. Лежать, как околевшему таракану на спине, со сложенными лапками... Нет, лежать Валере было удобно.

Он видел, – когда все это закончится, включая и непременно застолье, – следующим же вечером соберутся Катюшины подружки проведать вдову (вот такие слова, подумал Валера, и определяют наше реальное положение в мире, – вдова, невеста, муж...) и устроят они посиделки под водочку и огурчик, и кроме, что бог послал, как будут говорить о нем, утешая Катюшу, что все она сделала правильно, как прошли похороны, и гроб, и что все было как у людей, достойно. Что женщина она еще, пусть и не совсем молодая, но жить надо и есть для кого...

Это все земное и подлое, – думал Валера, – потому что оставшиеся – враги мертвого. Так правильно, но очень больно. Они должны откупиться, и не от него, чего там ему нужно, но ото всех прочих, от их глаз, от слов. Нужен памятник, будут говорить подружки, нет, не роскошный, конечно, и деньги не те остались, и вообще мещанство, но достойный. Чтобы заткнули свои рты, – так сформулировал эту мысль Валера. Чтобы не чесали языками.

И уже погодя, когда основательно выпьют с горя, одна из подружек невзначай и вскользь намекнет, что все может быть, что вокруг люди, что еще предстоит жить и жить, что трудно быть одинокой, и всегда найдется кто-нибудь, чтобы скрасить горе. Конечно, не сейчас, когда так остра боль утраты, но попозже...

А Катюша замашет руками, горестно, что, мол, какая ерунда, что прошла без остатка жизнь, что теперь – доживать. Но следующая рюмка, со слезой, оттертой в уголке глаза, покажется вкуснее и с привкусом каким-то новым – от живой жизни. Это все было так понятно, и Валера не обижался.

И на костюме Катюша сэкономила, тот новый, купленный недавно, итальянский, она на него не надела, но и этот был всего несколько лет назад куплен. Он и надевал-то его пару раз, потому что невлюбил, так бывает с вещами. Одно по душе, а другое не любишь, и все. Катя знала об этой его неприязни к костюму, но в нем положила. И на галстук тоже – галстук, что ему повяза-

ли, был из недорогих, а Валера любил шелковые галстуки, и было у него их с десяток, но вдова решила и здесь упростить дело. Что она станет делать с его шмотками? Подарит, наверное, племянникам или на дни рождения знакомым. Да, конечно, на дни рождения, ей это обеспечит подарки на ближайших десять мужских праздников, галстуки эти никак не устареют, а носил он их немало, и они выглядят как новые. Эта мысль Валеру развлекла, что друзья получают в подарок галстуки от мертвеца. Некоторых, если бы мог дотянуться, он своим галстуком удушил бы!

Что еще было плохо, это платочек в кармашке пиджака. Он был от другого галстука, и еще сам Валера его в кармашек и всунул. Можно было бы посмотреть и заменить или просто вынуть. Женщина, как правило, спотыкается на мелочах. Валера это понял еще совсем молодым, когда так остро чувствовал мир и его оттенки. Все правильно делает женщина, как обнимает и как говорит ласковые слова, но вот, устав играть по правилам, чувствуя, что все получилось отлично, она отпускает себя и становится сама собою, и тогда в мелочи, в жесте, в неловком случайном слове все рушится. Женщина этого понять не может, и объяснить это ей невозможно, но рушится сразу и все. Тогда приходишь в себя и тихо себе говоришь – жизнь! – такова жизнь! С этим надо мириться.

Да, конечно, приходит понимание сути этой жизни или того, что мы так, за незнанием слов, называем, и тогда рождается чувство жалости к женщине, к убогости нашей жизни, понимание ее скудной структуры. Мужчина становится лучше и сильнее в такие моменты.

Было понятно, в чем он лежит, но непонятно, где. Гроб стоял в большом помещении, даже в очень большом, – трудно было рассмотреть из-за высоких стенок гроба, но Валера видел потолок и теперь начинал припоминать, где, в каком помещении есть такой потолок. Было похоже на вестибюль Новороссийского университета, а это означало высокую честь. Вот уже лет двадцать или больше так никого не хоронили. Валера помнил еще студентом, что так принято было хоронить профессуру университета, торжественно выставив гроб в громадном аванзале, в его центре, перед парадной лестницей, к ней головой.

Плохо было то, что вокруг гроба было множество веников, так Валера называл прощальные венки. И даже на нем, прямо на теле, до самой груди лежала груда цветов. Эти цветы, прощальные, непременно с четным числом цветков, розочек или гвоздик, имели погребальный привкус и запах. Черт его знает, наверное, сразу, в момент, когда цветочная торговка получает такой заказ от человека с постным в меру лицом (со сдержанной скорбью, как это у них называется, с выражением, с которым они все и придут сейчас с ним прощаться), цветы сразу меняют запах. А могли бы смеяться и звенеть колокольчиками, будучи отобраны на юбилей или день рождения.

Запах цветов, и вообще цвет и запах видимого мира – они зависят от нас, от нашего восприятия, – думал Валера, – и хорошо бы написать об этом, но теперь уже поздно.

Пока что зал был громаден и пуст. Никого не было. Наверное, его, Валеру, только что внесли в этот зал, установили в центре, забросали вениками...

«Разобрали венки на венки,  
На полчаса погрустнели...»

Правильно писал Галич, – на предстоящие полчаса. Валера лежал в тишине и в полумраке огромного зала и знал, что пока не началось глумление, это будет последнее лучшее время его земной жизни... Он начал тихо декламировать стих, – в пустой и гулкой тишине звук набирал силу, был низкого глухого тона и звучал торжественно...

«Все перепуталось, и некому сказать,  
Что, постепенно холодея,  
Все перепуталось, и сладко повторять:  
Россия, Лета, Лорелея».\*

Как заупокойную молитву читаю, подумал Валера. Сам по себе. Но как удивительно звучат эти слова, не вникая в их смысл, в странность сочетания несочетаемых слов и понятий, не вдумываясь, но чувствуя, что истина здесь, в этом звуковом сочетании,

\* Осип Мандельштам. Декабрист. 1917.

что понимание мира лежит вдалеке от логических наших построений, лежит и ждет, но когда приходит, – приходит поздно!

Конечно, хоть время и изменилось, и Бога признали вновь, но не принято звать священника к мертвому, и они не позовут. А ведь дело совсем не в словах молитвы, понял Валера. Дело в голосе с печалью об ушедшем, пусть и многократно уже отзвучавшей по многим другим, – в голосе, звучащем в пустоте зала.

Он лежал и читал любимые стихи, лучшее, что знал на земле.

«И ночью снилась небылица,  
Далекий вальс и чьи-то лица,  
И нежность чьих-то глаз,  
И ненаписанные стансы,  
И трижды взятые авансы  
Под стансы и рассказ.  
И море снилось, но другое,  
Далекое и голубое,  
И милый Коктебель...»\*

Ах, это слово, имя это прелестное – Коктебель – оно, как сердце, – вот произнес, и сразу так многое возникло – в повороте головы, в движении шага, в сжавшейся ладони, как будто античная монета легла на твою ладонь, и в ней сохранилось тепло ладони тысячелетия назад потерянного друга, – где бы он сейчас ни был...

– вечерняя тень кипариса, опрокинутая на береговой склон и коснувшаяся головой прибрежной прохладной волны, весь день стояла жара, ветер где-то спал, наверное, в пустыне Сахара, где хорошо и покойно спится ветру, дышать было нечем, а волна, она так нежна и прохладна,

– серпантин дороги, падающей к морю, в лунном отблеске серебра, среди ночных холмов, – они тоже сейчас засыпают, и равномерное чистое их дыхание сливается с морем,

– ночная прохлада на песке у береговой кромки,

– бегущие наискось волны в гребешках пены, как ожившие лошади в серебряных гривах на русских лубочных картинках,

---

\* Дон-Аминадо.

– счастье жить на земле, и еще вера, что ты не одинок в своих бедах, – таких страшных, таких давних, таких выдуманных...

Он вспомнил свой Коктебель... Ему тогда было тридцать лет, и в самый разгар лета он уехал в Крым. Даже не к морю, у нас ведь здесь свое море, но чтобы отдохнуть от людей. Был тяжелый год, и он устал. В Коктебеле две недели подряд, эти лучшие две недели всей его жизни, непрерывно шел дождь. Яростный дождь, с перерывами на дождь просто, он хлестал береговые склоны и гнал упругие волны на берега, руша и осыпая дамбы...

Они так ни разу тогда не увидели солнца. Почему же всегда, много лет, и всегда, когда он вспоминал Марину, ему виделось, слышалось, чудилось солнце? Водопадом оно обрушивалось на них, дождем света и ласкового тепла...

Наш голос создан для стихов, думал Валера, и для псалмов, для речи, в которой нет содержания нашей обыденной жизни, нет всякой дури.

Но лучшая речь, – вне слов, лучшая – когда уходят последние слова, и остается ритм и мелодия, когда остается истинная сила речи! Как поздно приходит понимание, – думал Валера, – как дорого оно нам обходится!

Даже и лекцию можно было бы прочесть вслух, хорошую лекцию, какую читаешь на первых курсах еще мальчишкам и девчонкам, о термодинамике или математических началах, о чем-то выработанном любовью мысли и не ограниченном рамками убогой пользы, и тогда голос в пустоте большой аудитории звучит торжественно и объемно... Как тронная речь... И лица ребят светятся в мягкой темноте аудитории...

Он себя называл барабанщиком. Это было от стихотворения Иосифа, которое он случайно прочел мальчишкой, он даже вспомнил, где и когда, – в библиотечном зале на Пастера. В громадном, светлом, торжественном. Он провел в нем много молодых лет – лучших. И часто потом вспоминал, даже думал зайти, посмотреть и вспомнить. Не собрался!

Он тогда не читал вообще стихов, он читал научные монографии, и стол его был ими заставлен, десятком и больше, с закладками и пометками на полях. А на соседнем столике лежала книга со стихами Иосифа Уткина. Послевоенного еще издания в бумажном

пожелтевшем от времени переплете. Он улыбнулся такому странному сочетанию имен, в одном из них был Египет и пыль Ханаанских дорог, а во втором плыли по реке утки и говорили между собой об этой реке, о камышах, о чистом и ясном утреннем небе.

Он протянул руку, – куда-то отлучился хозяин столика, – и раскрыл книгу, прямо на Барабанщике. Строчки были просты и наивны, смысл их был, как детская песенка, в них вроде бы не было никакого смысла, но странность произошла в громадной пустоте библиотечного многоколонного зала, – он увидел пляшущих в нетерпении коней и еще увидел, как далеко позади них оседает потревоженная копытами пыль...

А на что такое ты потратил все свое время – на эти диссертации, что ли? На суету учебных процессов и конференций. Дельным была Москва, друзья, ночная Москва и стол, накрытый к празднику, или так, без причины, и потом ночные московские улицы в сугробах снега... в ливнях дождя... в ласковом и уже теплом весеннем солнце.

Валера хотел повернуться на бок, но опомнился. А неплохо бы, придут эти скорбеть, с вениками, скорбеть о себе и шептаться исподтишка, а дорогой покойничек (это, видимо, в смысле затрат такая вышла формулировка, да и то правда – дороговато стоит сегодня похоронить человека) лежит себе на боку, мечтательно подперев рукой подбородок!

В зале теперь царил приглушенный звук множества голосов. Это вошли и продолжали входить опоздавшие. Они подходили достойно, со сдержанной скорбью, и укладывали цветы на Валеру – на ноги и грудь. Как к памятнику неизвестному солдату, когда тебя снимают киношники, и не в солдате дело. Некоторые наклонялись и клали руку на боковую стенку гроба, как бы прикасаясь к телу. Что ж, думал Валера, я и сам не любил прикасаться к покойникам. Он стал различать голоса и узнавать пришедших. В основном, это были сотрудники по университету. Сверстников осталось немного, они собрались группой, выходя попарно, по очереди, стоять в почетном карауле.

Стали произносить речи о том, какой Валера замечательный был человек – ученый – друг, – и вообще, какая это была светлая личность. Валера лежал и улыбался. Он слушал разговоры в тол-

пе пришедших. Люди собрались в небольшие группы по возрасту, по работе общей, по дружбе. Вновь пришедший достойно со сдержанной печалью шел ко гробу, затем пытался к такой группе знакомых и, скорбно пожав всем руки (некоторые отказывались, был такой обычай, чтобы рук на похоронах не пожимать), включался в шедшую уже беседу. Говорили, конечно, не о Валере, а о том, как и кто выглядит из пришедших, потому что с похорон предыдущих люди не виделись. Обсуждали новости, что случилось за прошедшее время. Смотрели по сторонам, на входящих в зал, кивали или пожимали руки. Переходили из группы в группу. Зал был наполнен звуком приглушенных голосов. Речи никто не слушал. Шла тусовка с привкусом скорби. Все как у всех, подумал Валера, я ведь так же себя вел на чужих похоронах.

Впервые Валера лежал прилюдно среди толпы людей, и ему было неловко. В давнишние времена, когда в стране были трудности с гостиницами, и застряв где-нибудь в аэропорту, надо было прилюдно скоротать ночь, Валера не позволял себе спать на людях. В таком поступке, он это знал, было нарушение личной интимности, опасное, грозящее последствиями. Ну, теперь последствий можно не опасаться, подумал Валера, можно вот так полежать, прикрыв веки, притворясь спящим.

Он узнал женский голос и на нем сосредоточился. Нечего там стоять и всхлипывать, подумал Валера, могла бы прилечь рядом напоследок. Некоторое время он представлял себе, как это здесь получится, но потом отогнал эту суетную мысль. Такие желания были явно не к месту, но улыбка тронула его губы.

Он расслышал женские знакомые голоса с похвалой в свой адрес, что, мол, лежит, как живой. Что даже улыбается. И вспомнил, как кто-то из мемуаристов написал о Блоке, что был тот в гробу нехорош, как бы упрекая Блока в недостойном поступке. Мужчины говорили о грядущих перемещениях и гадали, кто будет заведовать кафедрой, или пригласят варяга...

Гроб подняли и понесли. Валера считал знакомые ступеньки, его наклонили в гробу, и он вспомнил, – покойника несут ногами вперед. Как бы сам иду к могиле, подумал Валера. Своими ногами.

Теперь он видел боковую стену университета желтого казенного цвета, любимого всеми империями в этой стране. Видел

фронтон холодильного института с фигурами каких-то рыбаков и колхозниц. Так и не успел их рассмотреть, подумал Валера. Молоденькие листики деревьев, только что вышедшие из веточек, уже весело щебетали свои детские песенки на весеннем ветру... Валера с удовольствием ощутил капельки мелкого дождя на губах.

В этот момент завхоз университетский подскочил к несущим гроб и трагическим шепотом приказал немедленно закрыть крышку гроба. Козел, с чувством подумал Валера. Был козлом – и это навсегда. Он перестал что-либо видеть, только чувствовал покачивание гроба, когда несли, потом противный скользящий звук трения о салазки, когда гроб устанавливали на дне катафалка, и вновь покачивание и подпрыгивание гроба на ухабах, через которые шла машина.

«Били копыта.

Пели будто:

– Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб». \*

Он ехал и видел любимые улицы, где прошла жизнь. Вот свернули на Пастера, а теперь едем по Преображенской. На Тираспольской площади сделали круг почета, и Валера вдруг вспомнил множество лет назад прочитанное и так давно позабытое – этой площадью въехал в Город Пушкин, по Тираспольскому тракту, из Молдавии. Здесь тогда был сад, в центре площади за невысокой решеткой, и кусочек дуги, думал Валера, от Тираспольской улицы до Преображенской, мы прошли колесо в колесо.

Некоторое время он вспоминал невысокого человека, курчавого и смуглого, с нерусской внешностью белого арапа, который стал нам родиной больше, чем все необозримые ее пространства, войны и города. Чем вся эта мишура и смешная чушь, которыми нас пичкали с детства, и вот в самом последнем счете, как итог, все, что осталось в душе, – его чеканный упрямый стих!

Нет, весь я не умру...

---

\* Владимир Маяковский. 1918.

Конечно, нет, думал Валера. Теперь мысль его текла в спокойных берегах, проведенных этим русским африканцем, – нет, не умру, – но останусь, и это необязательно в книгах и формулах, – но в людях, которых любил, и которые любили меня. В камнях этой мостовой, в стенах домов, в ступеньках подвальчика, который сейчас проезжаем, где недорогое вино нашей молодости было таким вкусным, как никогда потом уже не было. Валера вспомнил себя студентом, с ребятами, как они весело спускались в подвальчик по этим самым ступенькам, к прохладным бочкам вина, дешевого, на разлив. А в университете шли лекции. Хорошо, что я тогда их пропустил, решил Валера. А это все, книжную эту мудрость, я потом прочел сам и сам понял. Так было полезнее учиться, но не в книгах дело, пусть самых лучших, – дело в этом вине, в вине моей молодости.

Машина шла по Преображенской до Привоза, и Валера вспомнил себя мальчишкой, как с этой стороны Привоза, у Рыбного корпуса, он покупал свежих рачков по дороге на Ланжерон и Отраду. Можно было двадцать восьмым трамваем доехать до парка и там сбегать вниз по крутому откосу, а на берегу уже ждали ребята с удочками. Они успели, пока он мотался на Привоз, стащить лодку к воде, и весла уже были в ключинах. Валера вспомнил, как по утрам было холодно от морской воды, и как они замерзали, пока солнышко не поднималось над морем. А потом наступала жара, но к этому времени уже со связками свежих бычков, накупавшись, они торопились к четвертому трамваю, чтобы пораньше быть дома, на Молдаванке, и порадовать уловом родителей. Валера вспомнил вкус жареного бычка – бабушка ему давала первого, а к бычку всегда был огурец или свежая, красная от возмущения помидора. И большой ломоть хлеба. Валера даже хотел облизнуть вкус бычка с губ, но вовремя вспомнил, что это ему и здесь – неуместно делать.

Проехали зоопарк и свернули на Люстдорфскую дорогу. Жаль, отозвалось сердце, мало осталось ехать! Вот повернули и притормозили у центральных кладбищенских ворот. Ждали, пока откроют, а потом проехали широкой аллеей, обогнули церковь и долго ехали по продольной аллее.

Небо Валера увидел уже с могильного холмика, куда его поставили для прощанья и вновь открыли лицезреть и убивать-

ся в скорби. Он лежал неудобно, потому что гроб от неровностей земляного холмика наклонился на правую сторону. Как корабль перед крушением, подумал Валера, как «Титаник» в известном фильме. Все спрыгнувшие с корабля уцелеют, все оставшиеся на борту – нет!

Вновь начались речи, но Валера отключил звук. Он смотрел вокруг себя, как это и где это будет. Место над ним. Последнее. Он увидел деревце и понял, что оно будет жить у него в изголовье, тоненькое с худеньким стволом, искривленным, потому что ему пришлось выбираться из-за громадного памятника, перекрывшего солнце... Лет через десять оно вырастет и раскинет надо мною крону, обрадовался Валера. Названия деревцу он не знал, но оно ему понравилось.

И ласково тронув рукой молодую шершавость ствола, он прошептал любимые слова:

«Барабанщик,  
Где же кудри?  
Где же песня и кадрили?»

К Эрзеруму  
Скачут курды,  
Пляшут кони,  
Дышит пыль...»\*

Он еще тогда, мальчишкой, запомнил эти строчки. И почувствовал, что будет день, он их произнесет по себе. Хорошо бы написать эти слова на моем камне, решил Валера, только эти слова, и ничего к ним не добавлять – даже имени. Наше имя случайность. Но чтобы человек, случайный прохожий, идущий кладбищенской тропой, остановился прочесть эти строки и увидел, как за поворотом тропинки вдоль центральной аллеи проскачут к Эрзеруму курды, торопясь и боясь не успеть. Чтобы услышал бешеный перестук конских копыт и увидел пыль, взволнованную, как тень отшумевшей жизни, промчавшейся к Эрзеруму... Чтобы так и стоял у моей могилы, пока не затихнет звук копыт и не уля-

\* Иосиф Уткин. Барабанщик.

жется успокоенная пыль. И тогда я тоже, понял Валера, услышу прошумевший над землей конский топот.

Внезапно крышку гроба захлопнули. Это как с музыкальным инструментом, подумал Валера, со скрипкой, на которой играл музыкант, стояла вокруг публика, слушала игру и вытирала слезы, так красиво они пели, инструмент и скрипач, а теперь, окончив игру, положили в футляр обоих.

Он знал, что еще может услышать звук падающей земли из рук прощающихся и потом грохот тяжелых и влажных земляных комьев с лопат специалистов похоронного дела, но не захотел ничего больше слышать. Он закрыл глаза и заснул.

## Спи, дорогой!

«...потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло оттого, что он не знает, что будет, и как это будет – кто скажет ему?»

Книга Екклесиаста, или Проповедника. 8.6,7

«дождь ли град  
сэм круглый год  
делал все что мог  
пока не лег в гроб

сэм был человек

крепкий как мост  
дюжий как медведь  
юркий как мышь  
такой же как ты

(солнце ли, снег)

ушел в куда что  
как все короли

ты читаешь о  
а над ним вдали

стонет козодой;

он был широк сердцем  
ведь мир не так прост  
и дьяволу есть место  
и ангелам есть

вот именно, сэр

что будет лучше  
что будет хуже  
никто сказать не может  
не может не может

(никто не знает, нет)

сэм был человек  
смеялся во весь рот  
и вкалывал как черт  
пока не лег в гроб

спи, дорогой»\*

---

\* Эдвард Эстлин Каммингс.